

ЕВРОПЕЕЦ ИЛЬЯ МЕЧНИКОВ

Этьен Бюрне

Десять лет назад, 15 июля 1916 г., Европа потеряла выдающегося по сути своей европейца Илью Мечникова¹. Слово «европеец» вызывает представление о человеке с определенной манерой мыслить и действовать независимо от национальных границ, который везде чувствует себя как дома от Урала до Атлантики. Европейский дух проявляется в зародыше у Генриха VI и у настоятеля католического монастыря Святого Петра. Его нет ни у Бисмарка, ни у Кавура. Его скорее можно обнаружить у Наполеона III. Наполеон I приобрел его только на острове Святой Елены. Байрон, Гете, Ренан – европейцы; в меньшей степени европеец Виктор Гюго, хотя он и посадил дуб в Гернси на аллее Соединенных Штатов Европы. Карл Маркс более европеец, чем Прудон, Тургенев, чем Флобер, Толстой, чем Диккенс. Англичане почти никогда не были европейцами, французы, немцы, итальянцы – иногда, но русские интеллектуалы, в силу их воспитания, почти всегда.

Европеец вобрал в себя тройное наследие: древнегреческое, римское и христианское. Но недостаточно сказать: «Он европеец», ориентируясь, главным образом, на привычки, бытующие в семье. Европеец требует, чтобы жизнь была организована. В этой организации он сочетает общественный порядок и индивидуальную свободу, но высшей движущей силой для него является индивидуализм. Движимый этими двумя понятиями – организованным порядком и индивидуальной свободой, – европеец испытывает двойную потребность: в космополитической экспансии и в уходе в свое личное сознание. Он отправляется на открытие новых миров, чтобы превратить их в колонии (даже в ущерб справедливости), или, сидя на своей «печи», разрабатывает проекты, создает системы, приводящие к новым завоеваниям мира. Он обеспокоен, он видит противоречия между его семейной или национальной группой и другими группами, между свободой и потребностью в организации, между естественным поведением и поведением в соответствии с нормами и правилами, между стремлением к миру и духом

войны, между консерватизмом и желанием революционных преобразований. Он переживает конфликты в своем собственном сознании. Равновесие этих противоборств неустойчиво.

Чтобы проложить свой путь в естественном беспорядке, он овладевает такой силой, как наука, наука Архимеда, наука Декарта, а также научным сознанием, применимым ко всему, – рационализмом. Кто не рационалист, тот не европеец. Для европейца религия не может больше повелевать в человеческом обществе. Мистик не является истинным европейцем.

Постепенно европеец стал пацифистом. Через войну за идею он пришел к идее мира. Он не может отказаться от своего идеала – рационалистического космополита стоиков. Географические и духовные размеры его собственной страны не могут быть для него мерой мира. От Рима, христианства и стоицизма он унаследовал мечту об универсальном обществе.

Неудивительно, что он приобретает вкус к напряжению сил, к вере в прогресс и определенное отвращение ко лжи.

Был ли Мечников греком, римлянином и христианином, неизвестно. Он не знал ни греческого, ни латинского. То, что он мог знать катехизис, не в счёт. Немногие были более свободны, чем он, от прошлого, которое они в себе несли. Прошлое нисколько не давило на него, он жил в настоящем и будущем.

Характерной европейской чертой, преобладавшей в нем, была страсть к науке. Пусть нас извинят за то, что мы не будем касаться его чисто научной работы, которая так хорошо представлена у других авторов. Нам хотелось бы показать этого человека, его страстность, воспламеняющую умы, энтузиазм Разума, – все то, что связывают в Европе с образом великого человека.

Его происхождение сложное: отец – малороссийский дворянин, военный, эпикуреец, гурман и большой игрок; мать, очень красивая, живая, веселая и нежная женщина редкого ума (такая, какой представляют себе мать Гете), была дочерью еврея, обращенного в лютеранство. Мечников очень дорожил этой каплей сильной еврейской крови, считая её благотворной для русского, для европейца. Еврейская кровь удваивала жизненность и привязанность к земному предназначению, уже унаследованные им от отца-эпикурейца. Он был пятым ребенком. Здесь не мешало бы сказать биографам: обратите на это внимание, так как статистика показывает, что, как правило, исключено, чтобы у матери среди первых детей появился на

¹ Чтобы понять Мечникова, надо прочитать книгу Ольги Мечниковой «Жизнь Ильи Мечникова» (Париж, 1920), представляющую собой полную биографию, абсолютно искреннюю, достойную человека, которому она посвящена. Тот факт, что во Франции такая книга прошла незамеченной, красноречиво свидетельствует о послевоенном мышлении. Имеются английское, американское и русское издания этой книги.

свет гений, или более точно, великий характер. Гений почти всегда — третий, четвертый, пятый... ребенок, и установка на двоих детей в семье вредна для расы в количественном и качественном отношении.

Среди его предков была неординарная личность — великий Спотарь, герой молдавской летописи, живший в 1625—1714 гг. Этот человек, достойный представитель великих характеров времен Ренессанса, изучил в Константинополе теологию, философию, историю, древнегреческий, современный греческий, латинский, славянский и турецкий языки, а в Италии — математические и естественные науки. Из-за какого-то неудачного вмешательства в придворные интриги, его владыка чуть было не казнил его, но удовлетворился тем, что отрезал ему нос. Спотарь стал первым переводчиком царя Алексея (второго из семейства Романовых), российским миссионером в Китае и исследователем р. Амур, при этом он не преминул выучить китайский язык. Им был составлен греко-латино-русский словарь, переведена Библия с греческого языка на румынский, он написал «Арифметику» и книгу о дорожных связях. Более «специализированный», как и подобает современному ученому, Мечников был в наследственном долгу у этого энциклопедического предка. Мечников не был прилежным учеником. Страсть к биологическим наукам слишком рано овладела им, чтобы он не приносил ей в жертву другие предметы школьной программы. Его первые учителя, по-видимому, были людьми заурядными. Прежде всего он сформировался сам, но в какой-то степени и под произвольным влиянием своих товарищей и знакомых: младшего Богомолова, всегда говорившего о химии (его отец имел красильную фабрику); студента Ходунова, воспитателя Льва Мечникова, брата Ильи; позже — под влиянием молодого физиолога Щелкова из Харьковского университета. Гувернер-француз Готье, «весельчак, фанфарон и болтун», обучил его песням Беранже.

Товарищи читают ему статьи Герцена из «Колокола» и «Полярной звезды». Но Мечникова интересуют животные, гербарии, и в 11 лет он пишет монографию о довольно известном растении *Adenostyles albifrons*. Он изучает немецкий язык, чтобы читать таких классиков материализма, как Фихте, Фейербах, Бюхнер, Молешотт. Атеизм ему нравится, он проповедует его среди своих товарищей, за что получает прозвище Безбожник. Он собирает группу единомышленников в возрасте примерно 13 лет для

составления новой энциклопедии человеческих знаний. Уже в восемь лет ученый платит деньги своим братьям и друзьям, чтобы они слушали его лекции. Позже он умоляет профессора допустить его в лабораторию для изучения протоплазмы. Он читает Вирхова, а в 15 лет с жадностью глотает только что появившуюся книгу Дарвина «Происхождение видов».

В то время русские университеты были бедны материально, бедны учеными, еще беднее интеллектуальной свободой. Молодой Мечников отправляется учиться в Европу. Он такой же европеец, как Улисс. Он переезжает из одного города в другой, как Одиссей с острова на остров. Это студент, кочующий ученый. Его поездки по Европе напоминают поездки по Франции другого человека, изголодавшегося по знаниям, — писателя Франсуа Рабле.

Путешествуя, Мечников вбирает в себя все то лучшее, что создано европейской культурой. И всегда во время каких-либо исследований или экспедиций он находит возможность осмотреть город, посетить картинную галерею, послушать музыку. Разве можно, проезжая через Вену, не побывать в опере на «Дон Жуане» и «Волшебной флейте»? В Мюнхене молодой зоолог снимает жилье в доме, полностью заселенном учащимися консерватории, которые погружают его в мир музыки. Его путь из Вены в Неаполь, где находится известная зоологическая лаборатория, лежит через Флоренцию и Рим. Отправляясь в Танжер на зимние каникулы, он проезжает через Мадрид и Толедо. Из Неаполя и Мессины, где зоологический улов превосходный, он отправляется в Сиракузы, наслаждается видами Таормины. А разве не приятно, как натуралисту, так и гуманисту отыскать на Сицилии папирус?

В то время инструментарий ученого, посвятившего себя эмбриологии беспозвоночных животных был довольно простой. Между двумя пребываниями в университетских лабораториях Мечников свободно путешествует по Европе. В маленьком гостиничном номере он устанавливает микроскоп и расставляет пузырьки. Где ему пришла мысль о фагоцитозе? В Мессине, где он жил в маленьком доме на берегу моря со своей молодой женой и её четырьмя братьями и сестрами, еще детьми? Где он написал в 1883 г. знаменитый доклад, свою первую работу о фагоцитозе? В номере гостиницы в Риве на озере Гарда по дороге из Мессины в Вену?

Если прочертить маршруты его поездок по Европе, то получается удивительно ломаная



И. И. Мечников с группой участников экспедиции Института Пастера в Астрахань (1911 г.).
 Слева от О. Н. Мечниковой – Этьен Бюрне.

линия, но в духовном отношении устремления представляют совершенно прямую линию. Он едет из Харькова в Вюрцбург, затем из Харькова на о-в Гельголанд, оттуда на конгресс зоологов в Гиссен. В 1865 году, будучи в возрасте 20 лет, он часто приезжает на Средиземное море, которое привлекает внимание как зоологов, так и художников. Через Флоренцию и Рим он отправляется в Неаполь, где встречает своего конкурента в области эмбриологии Александра Ковалевского, известного русского физиолога Сеченова и самого известного анархиста Бакунина. Мечников восхищен сильной личностью Бакунина, вовсе не его теорией. Затем Геттинген, Мюнхен, снова Неаполь, где свирепствует холера, о-в Искья, снова Бакунин, снова Германия и Гиссен. Возвращение в Россию – в Одессу, затем Петербург, снова Неаполь, Триест, опять Петербург, новые средиземноморские курорты, Вильфранш-сюр-Мер, Сан-Ремо, снова Одесса. Но однажды, чтобы изучить чрезвычайно интересный вид *Les Lucernaires*, он спешит из Одессы на Чёрное море в Сен-Васт-Ла-Хуг на побережье Ла-Манша. Путешествие, очень печальное, из России на Мадейру, великолепное

и мрачное пребывание в Фуншале. Курорт на Женевском озере, антропологическая экспедиция в степи Калмыкии. Путешествия для изучения эфемеров в Гмунден, на Дунай и Кавказ. И снова Неаполь, затем Танжер, Вильфранш, Триест и Россия.

И, тем не менее, Мечников не любил туризм и никогда не стремился путешествовать просто так, ради путешествия. Жизненные обстоятельства и демон науки толкали его с одного побережья на другое. Но если бы атмосфера России была бы более благоприятной для научной работы, если бы не болезнь его молодой жены, он столько бы не путешествовал. Все эти переезды не должны вызывать у нас иллюзий: молодость Мечникова не была счастливой. Он много страдал, много боролся, сгибался под тяжестью горя, переживая приступы отчаяния. И он очень много работал. Его всегда спасала жизненная сила и страсть к науке, натянутая, как нерв его позвоночника.

За последние пятнадцать лет своей жизни Мечников совершил еще несколько путешествий в Англию и Германию на конгрессы и конференции, в Швецию по случаю



И. И. Мечников делает прививку шимпанзе (Институт Пастера в Париже).

награждения его Нобелевской премией, в степи Калмыкии и Киргизии для наблюдения за чумой и туберкулезом. Это довольно мало по сравнению с кругосветными путешествиями во времена его молодости. В это время он жил в Севре и часто говорил: «Я единственный из всего Института Пастера совершаю самый длинный маршрут: каждый день из Севра в Париж и обратно, восемь тысяч километров в год». К сорока годам, возрасту наивысшей зрелости, он ощутил потребность закрепиться. Заслуга Института Пастера, лично Пастера в том, что его пригласили работать; заслуга Мечникова в том, что он привязался к Институту Пастера навсегда. «В Париже мне довелось заниматься чистой наукой, вне всякой политики и общественной деятельности», — говорил Мечников. Париж был для него столицей Европы. Сколько раз ему предлагали завидные места в других странах! «Нет, я не поменяю никогда Институт Пастера, разве что на единственное место, кладбище Монпарнас, самое близкое». Даже после своей смерти он не покинул Институт. Урна с его прахом замурована в стене библиотеки, дух Мечникова остается в душе Института.

Он не собирался получать французское подданство: это не имело для него смысла. Рожденный русским, он был европейцем. Его лаборатория в Институте Пастера была учреждением нового типа, научным европейским караван-сараяем. Со второй половины дня к Мечникову

в назначенное время приходили посетители, и он их всегда принимал. Часто жалел о потерянном времени, но посетители интересовали и развлекали его. Любопытный по натуре, он в них нуждался, так как они приносили со всего мира новости, которые были более правдивыми, чем о них писали в газетах. Из-за них лаборатория превращалась в обсерваторию. Кто только не сидел возле письменного стола, заваленного книгами, журналами, рукописями, или перед столом, покрытым эмалью, на котором господствовал микроскоп! Ученые, государственные деятели, художники, журналисты (и сколько!), актрисы, певицы, светские женщины, ясновидцы. Больные приходили за эликсиром молодости или просто за вакциной, преступники — на исповедь. А сколько русских: царские министры, политические деятели, путешественники, эмигранты, знатные господа, балалаечники, бедные и голодные студенты. А сколько таперов всех национальностей; их не выпроваживали, но по возможности не приглашали сесть. Вспоминают одного тапера, который, когда его попросили рассказать о его профессии, по крайней мере, о прежней профессии, ответил: «Бурильщик из Эвиана».

Эти несколько квадратных метров лаборатории Мечникова были поистине одной из вершин Европы, свободным пространством, живой клеткой, наделенной иммунитетом к предрассудкам, тщеславию, эгоизму и лжи.

Счастливы те, кто дышал этим целебным воздухом и сохранил в памяти его аромат.

В то время еще не было «Дней медицинской науки», собрания ученых носили помпезное название «конгрессов». Мечников проявлял интерес только к международным конгрессам, европейским научным заседаниям. Он стремился на них, как на поля сражений, где фагоцитарная теория одерживала свои победы. Он не пропускал ни одного заседания, экскурсии были не в счёт. Более живыми и волнующими, чем эти заседания, были беседы с коллегами, кружки, центром которых он быстро становился. Возбужденный, вдохновленный, с горящим взором, встряхивая своими длинными волосами, он дискутировал на французском, русском, немецком языках, понимая также языки, на которых не говорил, и возражал на каком-нибудь из тех языков, которыми владел. Он увлекался, пророчествовал — настоящий Демон Науки.

Оствальд различал два типа ученых: классический и романтический. Мечников относился к романтическому типу. Научное творчество Мечникова было проявлением его активной природы. Вначале возникала идея, затем следовал эксперимент, чтобы доказать правильность мысли. Когда он читал, его мысль постоянно работала, в памяти запечатлевались нужные факты или цифры. «Все эти люди, — говорил он, работают для меня». Спустя годы, он вспоминал, где читал про такой-то эксперимент, такое-то мнение, было ли это на лицевой или на оборотной стороне листа. Свою толстую книгу по иммунитету, содержащую много мыслей, фактов, обширную библиографию, он написал по памяти, сидя в шезлонге во время первых симптомов сердечной болезни, изредка поднимаясь, чтобы пройти в библиотеку и уточнить ссылку. Редко увидишь при такой учености так мало педантизма. Читая много сам, он презирал эрудицию без мыслей. Он усмехался, видя, как нерадивый или робкий ученик начинал в пятидесятый раз опыт, который тотчас же наглядно подтверждался. Как будто число этих повторений увеличивало достоверность, уже заранее известную. «Одного хорошего подопытного кролика достаточно, зачем две сотни? «В конечном счете, даже в экспериментальных науках признак истины — это картезианский признак, очевидность. Уму Мечникова были присущи ясность и здравый смысл француза, гибкость и воображение русского, основательность немца, вдохновение и вместе с тем ощущение реальной действительности, свойственные великим англичанам. Но при всём

при этом он был самим собой. Понятно, что его мысль была приемлема в любой стране, также как сам он чувствовал себя легко в любой стране, где организована культура и уважаема индивидуальная свобода. Его крестные отцы — англичанин Дарвин, немец Вирхов, француз Пастер. По своим научным основам и наследию он европеец и универсал.

В начале XX века Мечников был ярким представителем нового гуманизма, продолжавшего гуманизм времен Ренессанса и гуманизм энциклопедистов, биологического гуманизма. На основе биологии он развил философию оптимизма. Европа не приняла философию оптимизма после обнародования Декартом механистической физики и духовной свободы. По мере того, как картезианская ясность бледнела, возрастал пессимизм, проповедуемый ориенталистами и представителями романтизма. Пессимизм свойственен Азии. Европа предпочитает действовать, она имеет свое иллюзорное представление о прогрессе. Из вуали майя европеец всегда сумеет выкроить что-нибудь прочное: тогу, палатку, флаг. Это Азия придумала сверхъестественный эволюционизм, приводящий к уничтожению личности. Естественная эволюция, эволюция европейца, приводит к нацеленному на действие индивидуализму.

Но не легкое это дело — вернуть человека в лоно природы, не сломав его. Надо совместить ряд естественных событий и человеческие поступки, привести в гармонию макро- и микрокосмос, природу и мысль. До сих пор существуют только три пути: христианское учение о природе и Боге, абсолютный материализм, проповедуемый Лукрецием, и учение Мечникова, которое смутно предвидел Фауст Гете.

Мечников чувствовал, что сознание индивида находится в отчаянии от того, что цикл человеческой жизни, каким мы его знаем, неполный и что одна лишь наука может обеспечить завершение этого цикла и достижение полного счастья. Нельзя придавать природе главное значение, как это делает Руссо, или, подобно святому Павлу, считать её первородным грехом. Существует естественное зло, связанное с видом, не абсолютное, скорее слепота (или безучастность) природы по отношению к нам, чем грех человеческий. Зло искупается не божьей милостью, а человеческим развитием. «Проблема этики сводится к тому, чтобы предоставить возможность наибольшему числу людей достигнуть цели их жизни, т.е. пройти весь цикл рационального существования до наступления естественного конца. Мы можем пока

только в общих чертах сформулировать некоторые правила для достижения этого идеала, для более точного представления о нем необходимо проведение еще многих научных исследований.

Наше существование изменится во многих отношениях. Ортобиоз² требует жизни активной, здоровой, воздержанной, без злоупотреблений и излишеств», — говорил Мечников. При этих словах улыбались, поскольку сам пророк долголетия прожил только семьдесят лет. Мечников, с присущей ему ясностью и искренностью, заранее давал объяснение по этому вопросу. «Видите ли, я слишком поздно начал вести рациональную жизнь, — повторял он, — и не могу сбросить со счетов болезни, усталость, тревожений моей молодости. Я выполнил программу сокращенного ортобиоза.

Я верю, что наука разрешит все проблемы, связанные с жизнью и смертью, и это позволит людям закончить их жизненный цикл, с точки зрения истинного ортобиоза, а не уменьшенного, как в моем случае».

Он пророк нового язычества, в котором биология заменит мораль. Как все люди, он придерживался своих метафизических взглядов и имел свое представление об Эдеме. Но его рай был земным, хорошо организованным миром без внутренних границ, где высшими законами были законы гигиены, где политикой была статистика и евгеника, где не было других споров, кроме интеллектуальных, между учеными и художниками, самый большой Теллем³, где женщины были столь же умны, сколь и красивы, без претензий на гениальность (что является мужским атрибутом), где свободные от абсурдных и капризных мод, они выращивали самые прекрасные плоды земли — детей, не страдающих заболеваниями, подготовленных к общественной и индивидуальной гармоничной у жизни, где человек закончил бы полный цикл существования и к естественному концу очень долгой жизни понял смысл естественной смерти и заснул вечным сном не только без мучения и холодного пота, но с наслаждением.

«Вот наша последняя битва, — сказал Просперо у Ренана, — затем наступит отдых, окончательный триумф. То, что я сделал, ничто по сравнению с тем, что я хочу сделать. Исследования, начатые мною в науке, называемой

«эвтаназией»⁴, поставят человека выше самой печальной зависимости — зависимости от смерти. Я найду средство, для того, чтобы смерть сопровождалась наслаждением». Мечников приблизился к идеалу Просперо. Он разгадал внутреннюю секрецию, которая делает естественную смерть сладостной. Он победил смерть не верой в другую жизнь и в бессмертие души, а, напротив, верой в то, что наше существо целиком смертно, и принятием небытия для индивида. За год до своей смерти, уже обреченный, он записал в своем дневнике следующие слова, созвучные словам Лукреция: *Quae pueri in gene dis pavitant finguntque future*⁵. «Я не боюсь смерти, я боюсь небытия. Этот страх, испытываемый в течение длительного периода жизни и исчезающий к концу её, можно сравнить с боязнью темноты, которую инстинктивно ощущают дети и которая мало-помалу отступает сама собой. Когда к концу жизни перестают бояться небытия, то больше не испытывают ни малейшего желания загробной жизни и бессмертия души. Мне отвратительна мысль о том, что душа, жившая в теле, может созерцать сверху несчастья тех, кто остается на земле. Наоборот, на закате жизни появляется желание полного небытия».

Сильные умы (а сильные умы сегодня те, что настаивают на безусловном авторитете церкви) не преминут сказать: нам знакомы эти слова, это слова ученого-педанта. Но никто не был менее педантом, чем Мечников, и наука для него не была высшей целью человека. Он её не воспринимал как конечную цель и не считал самым могущественным из средств. Наша прикладная наука только ступень на пути создания бескорыстной науки, чистой науки, сестры чистого искусства. «Когда благодаря развитию науки исчезнут нынешние несчастья, чистые наука и искусство займут место, которое им принадлежит и которого им действительно недостает из-за наших многочисленных забот».

Мечников никогда не участвовал в политической борьбе, но разве мог он как философ «Этюдов о природе человека» оставаться безразличным к правительству Сите?

В нем была эта чисто европейская двойная потребность в общественной организации и индивидуальной свободе. Он хотел, как Ренан, чтобы политика способствовала развитию

² Ортобиоз — правильная жизнь, совокупность всех факторов, влияющих на здоровье и долголетие. — *Здесь и далее примечание переводчика*

³ Теллем — место земных радостей.

⁴ Эвтаназия — легкая, безболезненная смерть.

⁵ «... чего ждут и пугаются дети в потемках» (*Лукреций Кар. О природе вещей. Кн. 2. М., 1946. Т. 1. С. 77*).

науки, и предпочитал доброму тирану коллегу из почтенных ученых с богатым опытом. В основании — экономика, гигиена, евгеника, на вершине — мечта Просперо. Еще будучи студентом, он познакомился в России с кружками социальных учений, с популярными курсами, с политическими тайными собраниями, с революционной пропагандой. В Женеве он познакомился с непревзойденным Герценом, в Неаполе с могущественным Бакуниным. Чего не хватало обольстительному Герцену и великому догматику Бакунину, так это науки. Мечников отвернулся от революционного движения и не связал себя с царизмом. Он долго размышлял о возможности обустройства общества с помощью последовательных правительственных реформ. Но когда в 1911 году, во время своей последней поездки в Россию, он увидел облавы, производимые в университетах министром Кассо, преследования поляков и евреев, восхождение Распутина, он подумал, что сложные проблемы русской жизни могли быть разрешены интеллектуалами вне правительства и «вопреки ему».

Еще больше, чем пороки царизма, его пугала в России опасная духовная болезнь, распространившаяся среди русской молодежи, — мистицизм. Он не любил ни священников, ни военных, но не как людей — он был благожелательный ко всем, он ненавидел их сущность. Всё же если, садясь в поезд, он видел сутану или униформу, то предпочитал другое купе.

Он испытывал отвращение, физическое и духовное, к насилию и войне. Он никогда не имел пристрастия к оружию и не носил его ни при каких обстоятельствах. Однажды, когда он путешествовал по Калибрии с несколькими спутниками, то сообщили о появлении банды грабителей, и караван остановился, чтобы осмотреть свое военное снаряжение: револьверы, кинжалы и т.д. «Что касается меня, — сказал Мечников, — то кроме этого у меня ничего нет» — и он вытащил из кармана своего жилета совсем маленький карандаш. Ничто его так не раздражало, как это наполеонство, взятое за моду и поддерживаемое во Франции и даже за ее пределами литературой, преследующей свои цели. Считать Наполеона воплощением человеческого героизма, когда есть Рембрандт, Бетховен, Пастер, означало для него поддерживать звериные инстинкты. Война — это величайшее бедствие, единственная социальная болезнь, которая не знает никакого лекарства. Война, посягающая на научные достижения, — злейший враг науки, даже цивилизации. Без

сомнения, самым большим горем за всю жизнь Мечникова была война 1914 г. «У него, говорила вдова Мечникова, — было ощущение, будто он внезапно очутился в глубине веков, в эпохе человеческой дикости. Он не мог смириться с таким упадком».

Если бы он пережил войну, он думал бы только о заживлении ран. Он не обращался к учению мадам de Thebes или святого Фомы Аквинского. Больше, чем когда-либо он хотел обустроить Европу. После заключения мира он не отстранил бы ученых Германии от участия в так называемых международных конгрессах. Однако Германия не была тем государством, которое он предпочитал в Европе. Может быть, за некоторыми исключениями, он скорее уважал немецких ученых, чем любил их. Он не говорил в их адрес много хороших слов. Его привлекали малые страны с высокой культурой, с сиянием большим, чем их масса, и обязательно мирные: Голландия, Дания, Швейцария. К концу своей жизни он отдавал предпочтение Англии, в которой его все больше и больше восхищали социальная сплоченность и либерализм, индивидуалистические характеры, великие ученые, такие независимые и аристократические. О Франции, стране, принявшей его, он думал больше, чем говорил. Как отмечал его биограф, он ценил «замечательные качества французов: их гуманность, мягкость и терпимость, свободомыслие, благожелательность и корректность — все это способствовало жизни легкой и приятной; а еще ценней была искренняя привязанность, которую испытывали к нему его коллеги и ученики». Он никогда не имел успеха у шовинистов, которых ненавидел.

Что касается России, то как было ему не любить её? Но о родной стране он судил, как и о других странах, по её вкладу в европейскую цивилизацию. Он не искал будущее величие России в Манчжурии или на Босфоре, а видел его в увеличении числа школ и лабораторий. На пароходе, плывущем по Волге, или в поезде, пересекающей бесконечные холмы Украины, он, указывая окружавшим его друзьям на русскую необъятность, говорил: «Когда этот народ станет образованным, какое это будет пополнение для науки и цивилизации!»

Хотя в Европе больше, чем достаточно, лицемерия и лжи, есть еще одна характерная черта европейского сознания, а именно стремление к полному соответствию мысли и слова (на всех языках), т.е. правдивость. Правдивость, искренность — это была сущность самого Мечникова. Огюст Конт сказал, что жизнь судьи

и руководителя не должна быть скрыта от народа, что их дом должен быть открыт для всех в любую минуту. Так жил Мечников. В любую минуту можно было знать, что происходит в его жизни и душе. Приводя в пример маленьких водяных животных, на которых он изучал проявления фагоцитоза, он говорил: «Все, что есть во мне, можно увидеть: я прозрачный, как дафния». Он наблюдал за иными, как за дафниями, и охотно и так же просто, как будто речь шла о зоологии, сообщал о своих наблюдениях за теми, кто продолжал создавать некоторые незначительные трудности в обществе, где довольно мало людей прозрачных и абсолютно правдивых.

Он обладал большим умом, очень своеобразным юмором, он был гениален и вместе с тем наивен. Брат его матери был карикатуристом и издавал в России сатирическую газету, очень известную в то время. Мечников часто бывал в беседе колким и снисходительным карикатуристом.

Научная интуиция и понимание жизни не были в нем двумя различными категориями. Наука была для Мечникова не карьерой, не развлечением — это была его жизнь, «жизнь страстная, бурная, где каждый год можно было посчитать за много лет». «Полемика по поводу фагоцитоза, — писал он в 1913 г. в своих воспоминаниях, — могла бы убить меня или совершенно ослабить еще гораздо раньше. Иногда (я вспоминаю, например, нападки Любарша в 1889 и Пфейффера в 1894 г.) я был готов расстаться с жизнью».

Как большинство изобретателей, он сохранял к своим первым творениям, к своим первым работам нежность; она была сродни нежности, испытываемой родителями к своему первому ребенку. «Мои кристаллы! Кто мне вернет мои кристаллы?» — сетовал Пастер в период его самых великих открытий в области медицины. И Мечников всегда с нежностью наблюдал за маленькими сгустками протоплазмы, способными поглотить что-либо. «Когда я изучаю миксомицеты, мне кажется, что я смотрю на красивую женщину», — говорил он.

Было что-то поэтическое в том внутреннем волнении, которое он испытывал перед любой живой формой, имеющей свою тайну, которую нужно было раскрыть, будь то восхитительная прозрачная личинка морской звезды, ранящая, как шипы розы, или хрупкие мотыльки (о них он писал в одной из своих последних работ), летавшие в его комнате во время отдыха в Сен-Леже в Ивелине, подобно хлопьям

снега или бесплотным духам. Свои научные труды он не писал, а, скорее, художественно сочинял. Слово за словом он отшлифовывал свой стиль, чтобы добиться абсолютной точности формулировок, красоты слога, — и он с удовольствием это делал. У него были способности музыканта. Ученику, привносившему ему свою выпестованную и немного скучную работу, он говорил: «Нужно, чтобы это было интересно, нужно, чтобы это было красиво. Что касается меня, то я пишу симфонически: сначала даю главную тему, затем побочную, потом разрабатываю. Мысли, оставаясь совершенно ясными, должны пронизывать друг друга...». Живопись и скульптура не занимали его, зато музыка была его духовной пищей. Однажды, когда он прибыл в Вену со своей женой и шестью детьми, опекуном которых он являлся, то, сойдя с поезда и не заходя в отель из-за недостатка времени, он повел свою семью в оперу на «Волшебную флейту». Особенно его волновала увертюра к «Эгмонту». «Если бы я не был ученым, я стал бы дирижером оркестра». В гармонии и дисгармонии человеческой природы — есть что-то музыкальное в его великой биологической теме.

Народы и легенды хранят образ великого совершенного человека. Вольтер, Гете, Виктор Гюго, Пастер, Анатолий Франс живут в представлении людей как великие старики. Мечников запомнится «старым оптимистом», как его называли в одном южно-американском журнале. Я вижу его входящим в лабораторию, его широкие, слегка сутулые плечи. Он снимает свою мягкую шляпу, всегда бесформенную и запыленную, калоши — средство от простуды, которые он, верный русскому обычаю, берег всю свою жизнь. Сквозь очки с совсем маленькими стеклами, как носили в те времена, на вас был устремлен взгляд его голубых глаз, живой, насмешливый, глубокий и добрый. Вы едва не испытывали соблазн быть с ним фамильярным: так много доброты в его лице, обрамленном седыми волосами и бородой. Лицо сохраняло выражение благородства, и вы смотрели на него немного снизу, как альпинист смотрит на гору. Будь то утро, когда он прибывал в Париж, или вечер, когда уезжал в Севр, или дневная прогулка по городу, Мечников всегда был нагружен пакетами. Можно было подумать, что когда он проходил мимо пакетов, то они сами прилипла к нему, как железные опилки к магниту. Они боролись за его руки и пространство в карманах, которое им еще могли уступить уже втиснутые туда книги, журналы, газеты. Он был похож на новогоднюю елку, но дети называли его Дедом

Морозом. У него не было своих детей, поэтому он баловал чужих. Он сам покупал для них конфеты и пирожные, а когда принимал гостей, то кусочки были отборными, от лучших поставщиков. Продащицы знали его, он знал их, причем знал о каждой: помолвлена ли она и когда должна выйти замуж. Тогда он непременно делал ей свадебный подарок: это могло быть даже что-нибудь из мебели, если она испытывала в этом необходимость. Если они брали конфеты руками, а не пользовались пинцетом или серебряным совочком, то он в мягкой форме, но достаточно жестко выражал протест, говоря о гигиене из любви к детям. Тем более, если он сразу видел, что эта девушка с чистой кожей и длинными ресницами имеет маленький рубец под ухом, свидетельствующий о перенесенной инфекции и спонтанной вакцинации при туберкулезе и т.д., то он без малейшего злого умысла, чтобы обратить внимание, сообщал об этом хозяйке магазина. Если вы удостаивались высокой чести позавтракать с ним, то вы отмечали и его зверский аппетит, и отменный вкус. Вы убеждались, что «старый оптимист» вовсе не вегетарианец, что он не пьет ни вина, ни кофе, никогда не курит. Этот всегда бурлящий мозг не нуждался в возбуждающих средствах. Он охотно пил свой чай, который присылали ему из России. После еды он выпивал чашку кислого молока — один из ритуалов ортобиоза — и только тогда относился к вам с большим уважением, когда вы делали то же самое и так же убежденно. В разговоре он проявлял себя энциклопедистом, который, осмыслив романтизм и науку XIX века, остался верным традициям Декарта. Но, если вы попадали в огромную исследовательскую лабораторию в Институте Пастера в день, когда Мечников читал лекцию о сифилисе, то вы узнавали, что значит пророк науки и гигиены. Широкими шагами он ходил взад и вперед за длинным белым столом, в его глазах горел огонь, он встряхивал своими волосами, как лев гривой, его возбужденные пальцы ломали кусочки мела, а безудержная мысль перепрыгивала через преграды слов и обрушивалась на вас, как поток, — и вы не могли укрыться. Все, о чем он говорил, надо было знать и делать для спасения человечества. Это был мастер своего дела, священник новой религии, демон или Бог науки.

Он был добрым, не будучи мягким. Он был сильным, его сила могла концентрироваться, увеличиваться и неистово обрушиваться. Он мог бы стереть в порошок не только противников со злыми намерениями, но даже противников с добрыми намерениями, неспособных понять очевидность фагоцитарного учения. В этом он был похож на Пастера.

В нем была чрезмерная раздражительность, нервозность, превосходная духовная восприимчивость и огромная способность страдать, ставшая причиной его пессимизма в молодости. Откуда пришел оптимизм в его зрелые годы и спокойствие в старости? Из самой жизни в результате осуществления пусть несовершенного жизненного цикла. Известные слова Сократа: «Никто не зол по доброй воле» — он перефразировал в: «Никто не несчастен по доброй воле». Надо учиться быть счастливым. Надо уметь жить не только в согласии с природой — это пустяк, но и в согласии с человеческой природой, приведенной благодаря науке в гармонию с окружающим миром.

Мечникова очень любили за его благородную и живую натуру. И он тоже любил любить, отдавая всего себя.

Как и Гете, его неотступно преследовал образ Фауста, и его друзьям и ученикам доставляло удовольствие считать его перевоплощением Фауста: то же стремление жить, знать и понимать, тот же страстный интерес к миру и человеку, к макро- и микрокосмосу. Пессимист в молодости и оптимист в старости, он восклицает: «Остановись мгновение, ты прекрасно!» И то же примирение со смертью, которое, в сущности, есть подтверждение жизни. Но нужно не раз подновить старую марионетку и изменить декор, отказаться от тусклого витража и закопченного свода, от изъеденной молью шубы доктора, от пентаграммы, знахарского искусства, средневековой алхимии, даже от химии средства душ, которую Гете практиковал со своей давней подругой мадемуазель Клеттенберг во времена Берхаве, даже Кавендиш и Пристли. В химию только что пришли Лавуазье, Берцеллиус, Пастер, Бертелло, Вант-Гофф. В лаборатории на столы, покрытые эмалью, свет проникает через прозрачные стекла. Эликсир молодости — это селекционная кишечная флора, чашка с молочнокислыми ферментами, витамины, гормоны. Во время чумы новый Фауст раздаст вместо чудодейственных микстур эффективные вакцины. Но Фауст, фигура исключительно европейская, бессмертен. А Мечников был самым недавним, но не последним его воплощением. Волей-неволей наука овладевает каждой человеческой судьбой. Человек, воплотившей Бога и Дьявола, великий Пан, не умер.

Пусть женщины и дети развлекаются, обращая свои взоры к Азии. Европа же всегда будет символизировать науку, или она перестанет быть Европой.